



Л. М. РЕЙСНЕР

Свияжск

<Фрагменты>

Что такое Свияжск?

Только после Свияжска и Казани Красная армия выкристаллизовалась в те боевые и политические формы, которые, изменяясь и совершенствуясь, стали классическими для Р. С. Ф. С. Р.

6-го августа 1918 г. из Казани бежали немногочисленные, наскоро сформированные полки, и лучшая их, сознательная часть зацепилась за Свияжск, остановилась, решила стоять и драться. И в то время, как толпы дезертиров, бегущих от Казани, докатывались чуть ли не до Нижнего Новгорода, запруда, образовавшаяся в Свияжске, уже остановила чехословаков, и генерал, пытавшийся взять штурмом железнодорожный мост через Волгу, был убит во время ночной атаки. Таким образом первое же столкновение белых, только что взявших Казань, а потому и морально, и материально более сильных, — с ядром Красной армии, пытавшимся защищать переправу через Волгу, снесло голову чехословацкого наступления. В лице генерала Б., оно потеряло своего популярного и талантливого вождя. Вероятно, ни белые, упоенные недавней победой, ни красные, сплотившиеся вокруг Свияжска, не догадывались, какое историческое значение имели их первые пробные стычки.

Без материалов, без карты, без опроса товарищей, бывших тогда в составе 5-й армии, очень трудно обрисовать военное значение Свияжска. Много уже забылось, и лица и фамилии — как в тумане. Но вот что никогда и нигде не забудется: это чувство величайшей ответственности за удержание Свияжска, объединявшее его защитников, всех от члена Реввоенсовета и до последнего

красноармейца, в панике нагонявшего свой где-то существующий, куда-то отступивший полк, и вдруг обернувшийся назад, лицом к Казани, со своей растрепанной винтовкой в руках и с отчаянной решимостью защищаться до последнего. — Все понимали положение так: еще шаг назад откроет «им» дорогу до Нижнего и путь на Москву, дальнейшее отступление — это начало конца, смертный приговор Республике Советов. Было ли это верно со стратегической точки зрения — я не знаю. Может быть, армия, откатившись еще дальше, собралась бы в такой же кулак на одной из бесчисленных точек, испещряющих карту, и оттуда понесла бы к победе свои знамена, — но морально это было правильно. И поскольку отступление от Волги означало тогда полное крушение, — постольку же возможность держаться, устоять, прислонившись спиной к мосту и отбиваясь на все стороны — давала право на реальную надежду.

Революционная этика в двух словах формулировала сложное положение: отступление — это значит чехи в Нижнем и Москве. Свяжск и мост не сдаются — это значит обратное взятие Казани Красной армией.

Кажется, на третий или четвертый день после падения Казани в Свяжск приехал Троцкий. Его поезд прочно стал на маленькой станции, паровоз, попыхтев, отцепился, ушел пить воду и уже не возвращался. Ряд вагонов стал так же неподвижен, как грязные избы и бараки, в которых помещался штаб 5-й армии. Он молчаливо подтвердил, что отсюда уходить некуда и незачем. Понемногу фанатическая вера в то, что эта маленькая станция станет отправным пунктом обратного наступления на Казань, начала претворяться в реальные формы. Каждый день, в течение которого этот глухой и бедный полустанок отстаивал свое существование против неизмеримо-сильнейшего противника, укреплял его силу и поднимал настроение. Приходили откуда-то из тыла, из отдаленных деревень сперва одиночки, потом небольшие отряды, и наконец — более сохранившиеся воинские части. Как сейчас, вижу этот Свяжск, где не было ни одного солдата «по принуждению». Все, что в нем жило и оборонялось, было связано крепчайшими узами добровольной дисциплины, добровольного участия в борьбе, которая в начале казалась совсем безнадежной.

Люди, спавшие на полах станционного здания, в грязных избах, полных битого стекла и соломы, почти не надеялись на успех — а потому и не боялись. Вопрос о том, как и когда это «кончит-

ся» — никого не интересовал. «Завтра» не было — был короткий, горячий, дымящийся кусок времени — «сегодня». Этим и жили, как живут во время жатвы. Утро, день, вечер, ночь — каждый час удлинялся, его надо было взять и изжить, израсходовать до последней секунды, бережливо и чисто срезать как зрелый хлеб, под самый корень. Каждый час казался богатым, не похожим на всю прежнюю жизнь, едва промелькнув, вспоминался, как чудо. Да это и было чудо. Прилетал и улетал аэроплан, бросал свои бомбы на станцию и вагоны; приближался и уходил назад противный, тошный лай пулемета и спокойный голос орудий; человек в рваной шинели, штатской шляпе, в сапогах, из которых вылезали ноги, — одним словом, защитник Свияжска с улыбкой вынимал часы из кармана и думал про себя: «Значит, в половине первого, или в четыре, или в шесть часов 20 минут — я еще жив, Свияжск держится, поезд Троцкого лежит себе вдоль полотна; в окне Политотдела зажглась лампа. День окончен».

В Свияжске почти совершенно отсутствовали медикаменты, бог знает, чем и как перевязывали врачи. Этой бедности не стыдились и не боялись. Солдаты ходили в кухню за щами мимо носилок, на которых лежали раненые и умирающие. Смерть не пугала: ее ждали каждый день, всегда. Лежать в мокрой шинели, с красным пятном на рубашке, с пустым лицом, которое уже не человек — это подразумевалось.

Так шли друг за другом дождливые августовские дни. Наши редкие и слабо вооруженные цепи не отступили, мост оставался в наших руках, и из тыла, откуда-то издалека, начали подходить подкрепления. К летающим по ветру осенним паутинам прицепились провода настоящей связи, и какой-то огромный, громоздкий, хромо́й аппарат начал работать на плохую станцию Свияжск, на едва видимую на карте России черную точку, за которую в минуту отчаяния и бегства, месяц тому назад схватилась рука революции. Здесь обнаружился весь организационный гений Троцкого, сумевшего наладить снабжение, протолкнуть к Свияжску по явно саботировавшим железным дорогам свежую артиллерию и несколько подвод — все необходимое для обороны и дальнейшего наступления. При этом надо помнить, что работать приходилось в 1918-м году, когда еще бушевала демобилизация, когда на улицах Москвы появление хорошо одетого отряда красноармейцев вызывало настоящую сенсацию. Ведь это значило идти против

течения, против усталости четырех лет войны, против внешних вод революции, разносивших по всей стране обломки аракчеевской дисциплины, бурную ненависть ко всему, что напоминало старый офицерский окрик, казарму и солдатчину.

Вопреки всему этому появилось снабжение, пришли газеты, пришли сапоги и шинели. А где действительно, всерьез, выдают сапоги — там настоящий, прочный штаб, там устойчиво, там армия сидит крепко и не думает бежать. Шутка ли, сапоги!

Во времена Свияжска не было еще ордена Красного Знамени, иначе его пришлось бы дать сотням человек. Все, и трусы, и люди нервные, и просто средние работники и красноармейцы, все без исключения делали невозможные, героические жесты, перевозмогали себя, выходили из своих берегов, разливались, радостно затопляя свой нормальный уровень. И если уж говорить об атмосфере, об исключительно духовной интенсивности, которой друг друга заражали, неожиданно убеждаясь в собственные силах, держа себя за шиворот и отрывая от земли, надо сказать о радости и легкости, которой эта атмосфера была пропитана.

Вспоминаю несколько писем, полученных тогда из Москвы. В них ликованием мешчанства, готовившегося повторить памятные дни Парижской коммуны. А в это время первый, самый опасный фронт Республики, висевший на железнодорожной нитке, пылал, охваченный той неслыханной героической вспышкой, которой хватило еще на три года голодной, тифозной и бездомной войны. В Свияжске был не только Троцкий, решивший не трогаться, что бы там ни случилось, сумевший показать этой горсти защитников еще более глубокую, металлическую невозмутимость — там собрались старые партийные работники, будущие члены Реввоенсовета Республики и Реввоенсоветов Армий... <...>

Розенгольд¹ в своем вагоне сразу, чуть не с первого дня, оброс канцелярией Реввоенсовета, обвесился картами, затрепал машинками, неизвестно откуда появившимися, — словом, стал строить крепкий, геометрически правильный организационный аппарат, с его точной связью, неутомимой работоспособностью и простотой схемы. И впоследствии, в какой бы армии, на каком бы фронте ни расклеивалась работа — сейчас же, как пчелиную матку в мешке, привозили туда Розенгольца, сажали в разоренный улей, и он тотчас начинал неудержимо отстраиваться, выводить ячейки, жужжать телефонными и телеграф-

ными проводами. Несмотря на шинель и большущий пистолет за поясом, в его фигуре и белом, немного мягком лице, не было ничего воинственного. Огромная сила Розенгольца состояла вовсе не в этом, а в органической способности возрождать, связывать, доводить до взрывчатой скорости темп остановившегося, засоренного кровообращения. Рядом с Троцким он был, как динамо, ровная, маслянистая, с бесшумными могучими рычагами, день и ночь прядущими свою несокрушимую организационную паутину².

Я не помню точно, какую официальную работу в штабе 5-й армии выполнял Иван Никитич Смирнов. Был ли он членом Реввоенсовета или одновременно заведовал еще Политотделом, но вне всяких названий и рамок, он олицетворял революционную этику, был высшим моральным критерием, коммунистической совестью Свияжска.

Даже среди беспартийных солдатских масс, и среди коммунистов, не знавших его раньше, сразу же была признана удивительная чистота и порядочность тов. Смирнова. Вряд ли он сам знал, как его боялись, как боялись показать трусость и слабость именно перед ним, перед человеком, который никогда и ни на кого не кричал, просто оставаясь самим собой, спокойным и мужественным. Никого так не уважали, как Ивана Никитича. Чувствовалось, что в худшую минуту именно он будет самым сильным и бесстрашным. С Троцким умереть в бою, выпустив последнюю пулю в упоении, ничего уже не понимая и не чувствуя ран, с Троцким — святая демагогия борьбы, слова и жесты, напоминающие лучшие страницы Великой французской революции. А с тов. Смирновым (так нам казалось тогда, так говорили между собой шёпотом, лежа на полу в повалку, в холодные уже осенние ночи), с тов. Смирновым — ясное спокойствие у стенки, на допросе белых, в грязной яме тюрьмы. Да, так говорили о нем в Свияжске.

<...>

Между тем белые почувствовали, что Свияжск со своим крепнущим сопротивлением, вырастает во что-то большое и опасное. Кончились случайные наскоки и нападения; его крепко взяли на прицел, пошли на него большими силами, организованно и со всех сторон. Но время было уже упущено.

Старик Славин, командарм 5-й, кажется, не очень талантливый, но крепко и хорошо знающий свое ремесло, полковник,

нашел точку опоры, выработал определенный план и проводил его в жизнь с чисто латышским упорством.

Солнечным осенним утром пришли к Свияжску узкие, проворные, быстроходные миноносцы Балтийского моря. Их появление произвело сенсацию. Армия почувствовала себя защищенной со стороны реки. Начался ряд артиллерийских дуэлей, которые возобновлялись по три, четыре раза в день.

Под огнем спрятанных на берегу батарей наша флотилия спускалась далеко по течению; эти набегии увенчала необычайно смелая вылазка, предпринятая утром 9 сентября моряком Маркиным³, одним из основателей и первых героев Красного флота. На своем неповоротливом, обшитом железной броней, буксире, он спустился к самым казанским пристаням, высадился, пулеметами отогнал прислугу 6-дюймовой батареи и снял замки с нескольких орудий. В другой раз, глубокой ночью на 30 августа наши корабли подошли вплотную к самой Казани, обстреляли ее, зажгли несколько барж с военным снаряжением и продовольствием и ушли, не потеряв ни одного судна. Между прочим, Троицкий находился с комфлотом как раз на миноносце «Прочный», который исправлял свой штуртрос, пришвартовавшись к борту неприятельской баржи под дулами белогвардейских орудий.

Уже в разгар обратного, наступательного движения приехал главком Вацетис⁴. Большинству работников, в том числе и мне, не были известны подробности и совещания — и только одно вскоре стало известным и было всеми встречено с большим сочувствием. Наш «Старик» (так звали в товарищеской среде командарма) не согласился с мнением Вацетиса, настаивавшего на левобережной операции, и решил штурмовать Казань по правому, господствовавшему над городом, Верхнему Услону, а не по левому, низкому и открытому берегу.

Но как раз в то время, когда вся 5-я армия судорожно готовилась к наступлению; когда ее главные силы, после трудных, многодневных боев, наконец, продвинулись вперед, все время выдерживая контратаки белых, — три «светила» белогвардейской России, соединившись вместе, решили положить конец затянувшейся Свияжской эпопее.

Савинков, Каппель и Фортунатов во главе значительного отряда предприняли отчаянный рейс на соседнюю со Свияжском станцию, целью которого было овладение Свияжском и мостом через Волгу.

Налет был выполнен блестяще; сделав глубочайший обход, белые неожиданно обрушились на станцию Шихраны, расстреляли ее, овладели станционными зданиями, перерезали связь с остальной линией и сожгли стоявший на полотне поезд со снарядами. Защищавший Шихраны малочисленный заслон был поголовно вырезан. Мало того, переловили и уничтожили все живое, населявшее полустанок. Мне пришлось видеть Шихраны через несколько часов после набега. Все носило черты того, совершенно бессмысленного, погромного насилия, которым отмечены все победы этих господ, никогда не чувствовавших себя хозяевами, будущими гражданами случайно и не надолго захваченных областей. Во дворе валялась зверски убитая (именно убитая, а не зарезанная) корова, курятник был полон нелепо перебитых кур. С колодцем, небольшим огородом, водокачкой и жилыми помещениями было поступлено так, как если бы это были пойманные люди, и притом большевики. Из всего были выпущены кишки. Животные валялись выпотрошенные, безобразно мертвые. Рядом с этой исковерканностью всего, что было ранее человеческим поселком, неопишуемая, непрогнозируемая смерть нескольких, застигнутых врасплох, железнодорожных служащих и красноармейцев казалась совершенно естественной. Только у Гойи в его иллюстрациях Испанского похода и Гверильи можно найти подобную гармонию деревьев, согнутых на сторону темным ветром и тяжестью повешенных, придорожной пыли, крови и камней.

От станции Шихраны Савинковский отряд двинулся к Свияжску вдоль железнодорожного полотна. Навстречу ему был выслан наш бронепоезд «Свободная Россия», вооруженный, на сколько помнится, дальнобойными морскими орудиями. Командир его, однако, оказался не на высоте положения. Окруженный, как ему казалось, с двух сторон, он бросил свой поезд и примчался в Реввоенсовет «для доклада». Во время его отсутствия «Свободная Россия» была расстреляна и сгорела. Ее черный остов, сошедший с рельс, долгое время лежал на путях совсем близко от Свияжска. Путь к Волге, казалось, был совершенно открыт. Белые стояли под самым Свияжском в каких-нибудь 1½ — 2-х верстах от штаба 5-й армии. Началась паника. Часть Политотдела, если не весь Политотдел, бросился к пристаням и на пароходы.

Полк, дравшийся почти на самом берегу Волги, но выше по течению, дрогнул и побежал вместе с командиром и комиссаром,

и к рассвету его обезумевшие части оказались на штабных пароходах Волжской военной флотилии.

В Свияжске остались — штаб 5-й армии со своими канцеляриями и поезд Троцкого. Лев Давыдович мобилизовал всю поездную прислугу, писарей, телеграфистов, санитаров, — словом, все, что могло держать винтовку. Канцелярии штаба опустели — тыл не существовал. Все было брошено на встречу белым, вплотную подкатившимся к станции. От Шихран до первых домов Свияжска весь путь был изрыт снарядами, усеян трупами лошадей, брошенным оружием и пустыми гильзами. И уже перескочив через гигантский остов бронепоезда, дымящийся, пахнущий дымом и расплавленным металлом, наступление остановилось, закипело на последних порогах, откатилось назад и снова бросилось на резервные, наспех мобилизованные заслоны Свияжска. Здесь стояли друг против друга несколько часов. Белые решили, что перед ними свежая, хорошо организованная часть, о присутствии которой не донесла их контрразведка. Утомленные 48-часовым рейдом солдаты преувеличивают силы противника, не подозревая, что их останавливает горсть случайных борцов, за которыми нет ничего, кроме Троцкого и Славина, вдвоем сидящих в прокуренной, бессонной комнатке штаба, среди опустевшего, брошенного Свияжска, на улицах которого посвистывают пули. Эту ночь, как и все другие, поезд Льва Давыдовича простоял на путях без паровоза, и ни одна часть 5-й армии, продвинувшейся далеко вперед и готовившей штурм Казани, не была потревожена, не была снята с фронта, чтобы прикрыть почти беззащитный Свияжск. Армия и флотилия узнали о ночном нападении, когда все было кончено, когда белые уже уходили, уверенные, что перед ними чуть не целая дивизия.

На следующий день судили и расстреляли 27 коммунистов, бежавших в числе прочих на пароходы в самую ответственную минуту. Об этом расстреле 27-ми много потом говорили, особенно, конечно, в тылу, где не знают — на каком тонком волоске висела дорога на Москву и все наше, из последних сил предпринятое, наступление на Казань.

Во-первых: вся армия говорила о том, что коммунисты оказались трусами, что им-де закон не писан, что они могут безнаказанно дезертировать там, где простого красноармейца расстреливают, как собаку. Если бы не исключительное мужество Троцкого, ко-

мандарма и других членов Реввоенсовета, престиж коммунистов, работающих в армии, был бы сорван и надолго потерян.

Нельзя убедить никакими хорошими словами армию, которая сама в течение шести недель терпит всевозможные лишения, дерется без сапог, без теплого белья и перевязочных средств, что трусость — не трусость, и что для нее есть какие-то «смягчающие вину обстоятельства».

Говорят, среди расстрелянных комиссаров были хорошие товарищи, были и такие, вина которых искупалась прежними заслугами — годами тюрьмы и ссылки. Совершенно верно. Никто и не утверждает, что их гибель — одна из тех нравоучительных прописей старой военной этики, которая под барабанный бой воздавала меру за меру и зуб за зуб. Конечно, Свияжск — трагедия.

Но всякий, живший одной жизнью с Красной армией, родившейся и окрепшей в боях под Казанью, может подтвердить, что никогда бы не выкристаллизовался ее железный дух, никогда бы не было этой спайки между партией и солдатской массой, между низами и верхами комсостава, если бы сама партия, накануне Казанского штурма, в котором суждено было пасть сотням солдат, на глазах всей армии, готовившейся принести революции такую великую и кровавую жертву, не показала ясно, что и для нее обязательны суровые законы братской дисциплины, что и к своим членам она имеет мужество применить нелицеприятные законы Советской республики. 27 были расстреляны, и это заполнило брешь, которую знаменитым налетчикам все же удалось пробить в самосознании и единстве 5-й армии. Худшую же, малосознательную, склонную к дезертирству часть солдатской массы (а была, конечно, и такая) этот залп, казнивший коммунистов за трусость и бесчестие в бою, заставил подтянуться, стать вровень с теми, кто сознательно и без всяких понуканий шел в бой.

Участь Казани решилась именно в эти дни, и не только Казани, но всей белой интервенции. Красная армия нашла себя, переродилась и окрепла за долгие недели обороны и наступления.

В условиях постоянной опасности и высочайшего нравственного напряжения она выработала и конституировала свои права, свою дисциплину, свой героический новый устав.

Здесь впервые рассеялся панический страх перед более совершенной техникой противника, здесь научились обходить какую угодно артиллерию и неволью, исходя из простой самозащиты,

выдвинули те новые приемы войны, те ее специфические методы, которые уже сейчас изучаются высокими академиями как методы гражданской войны. Очень важно, что в эти дни в Свияжске оказался именно такой человек, как Троцкий. Кто бы он ни был, и как бы ни назывался, но организатор Красной армии, будущий председатель Реввоенсовета республики должен был быть в Свияжске, должен был изучить на практике опыт этих боевых недель и всю свою волю, весь свой организационный талант вложить в оборону Свияжска, в оборону разбитой и под огнем белых возрождавшейся армии.

И потом, в революционной войне есть еще одна сила, еще одно слагаемое, без которого нет победы — это могучая романтика революции, при помощи которой люди прямо с баррикад идут и вливаются в жесткие формы военного аппарата, не меняя своего короткого, легкого шага, воспитанного политическими демонстрациями, ни своей гибкости и самостоятельности, созданных, быть может, многолетней партийной работой в подполье.

Чтобы победить в 1918 году, надо было взять весь огонь революции, весь ее разрушительный пыл, и впрячь его в вульгарную, уродливую, старую, как мир, схему армии. До сих пор история разрешала этот вопрос всегда импозантным, но заигранным театральным эффектом. Выпускала на сцену того, на ком «треугольная шляпа и серый походный сюртук»⁵, и она или другой генерал на белом коне, кроил республиканские мундиры, знамена и лозунги из живой революционной плоти. Русская революция в своем военном строительстве, как и во многом другом, пошла собственными путями. Ее бунт и война слились в одно, армия и партия срослись, связались нерасторжимо, и на полковых знаменах написали единство своих целей, острейшие формулы классово-борьбы. Все это в Свияжские дни было еще не оформлено, только носилось в воздухе, искало своего выражения.

Рабоче-крестьянская армия как-то должна было сказаться, сделать свою внешность, свою собственную форму, но как, этого тогда никто отчетливо не знал. Никаких прописей, никакой догматической программы, по которой должно было расти и развиваться это исполинское тело, конечно, не существовало: в партии и в массах просто было предчувствие, творческое угадывание этой, никогда и нигде не бывшей, военно-революционной организации, которой каждый боевой день подсказывал какую-нибудь новую,

реальную черточку. Заслуга Троцкого в том, что он на лету улавливал малейшее движение масс, уже носившее отпечаток этой искомой, единственной организационной формулы. Он подбирал и ставил на ноги все те маленькие приемы, при помощи которых осажденный Свияжск упрощал, ускорял или упорядочивал свой боевой груд. И это не только в узко-техническом смысле. Нет, всякая новая и удачная комбинация спеца и комиссара, того, кто приказывает, и того, кто приводит приказ в исполнение и за него отвечает, — проверенная на опыте и отчетливо выраженная, немедленно превращалась в приказ, циркуляр, установление. Таким образом, живой революционный опыт не пропадал даром, не забывался и не искажался.

Не среднее становилось нормой, обязательной для всех, — а именно лучшее, гениальное, выдуманное массами в самый горячий и творческий момент борьбы. В крупном и в мелочах — будь это такая путаная и трудная вещь, как разделение труда между членами Реввоенсовета, или быстрый, равный, дружеский жест, которым друг друга приветствуют красный командир и солдат, оба занятые, оба куда-нибудь бегущие по делу, — все надо было подсмотреть с натуры, заучить и бросить обратно в массы для общего употребления. А там, где не шло, скрипело и путалось, угадать, помочь, вырвать как акушерка вырывает новорожденного во время трудных родов.

Можно быть отличным выразителем, можно дать новой армии рационально-непогрешимую скульптурную форму, и все-таки заморозить ее дух, дать ему испариться, не суметь его удержать в решетке юридических формул. Чтобы этого не случилось, надо обладать еще творческой интуицией, без которой нельзя подходить к массам.

В конечном итоге именно этот революционный инстинкт дает окончательную санкцию, именно он очищает новое творимое право от всех глубоко запрятанных контрреволюционных поползновений. Он нарушает лживую формальную справедливость во имя высшей, пролетарской; не позволяет гибкому закону окостенеть, оторваться от жизни, лечь на плечи красноармейца мелочной, раздражающей ненужной тяжестью. У Троцкого была эта интуитивная чувствительность. Никогда солдат, военначальник, командир не заслонял в нем революционера. И когда он своим нечеловеческим, страшным голосом обрушивался на дезертиров,

то боялись его как своего, как большевика, который размозжит, исковеркает за подлую трусость, за измену — не военному, а обще-пролетарскому делу.

Троцкий не мог быть трусом — иначе его раздавило бы презрение этой исключительной армии, и она никогда не простила бы слабому этой своей, братской крови 27-ми, которой обрызгана ее первая победа.

За несколько дней до занятия Казани нашими войсками, Л. Д. уехал из Свияжска; его вызвало в Москву известие о покушении на тов. Ленина. Но ни набег Савинкова на Свияжск, организованный эсерами с большим мастерством, ни попытка убить Ильича, предпринятая той же партией и почти одновременно с Савинковским рейдом, не могли уже остановить Красной армии, и девятый вал наступления обрушился на Казань.

Глубокой ночью с 9-го на 10-е сентября десант был погружен на корабли, и часам к пяти с половиною, на рассвете, неуклюжие, многоэтажные теплоходы под охраной миноносцев спустились к Казанским пристаням. В лунных сумерках было так странно проходить мимо полуразрушенной мельницы с зеленой крышей, за которой обычно пряталась батарея белых. Мимо обгорелого «дельфина», выбросившегося на пустынный берег, мимо знакомых изгибов, мысков и затонов, над которыми столько недель с утра до ночи разгуливала смерть, стлался дым, мелькали золотые снопы орудийного огня.

Теперь шли с потушенными огнями, в абсолютной тишине, черной, холодной, гладко льющейся Волгой. За кормой немного пены на беззаботно-убегающей в Каспий волне, все смывающей и ничего не помнящей. А ведь тот омут, которым теперь бесшумно проплывал корабль-гигант еще вчера был изрыт и вспахан бешено рвущейся сталью. Где сейчас проскользнула ночная птица, бесшумно тронув крылом молчаливую, чуть дымящуюся от холода воду, поднялось столько белых фонтанов пены, звучали тревожные слова команд и среди огня и дыма шныряли проворные миноносцы, осыпанные осколками, дрожащие от сдавленного нетерпения своих машин и ежеминутной орудийной отдачи, похожей на железную икоту. Стреляли, убегали из-под града снарядов, возвращались, вытирали кровь с палубы, а теперь тихо, и Волга течет, как текла тысячу лет назад, как будет течь спустя столетия.

До самых пристаней дошли без единого выстрела. Начало светать. В розово-серых сумерках появились сгорбленные, черные, обгорелые призраки. Подъемные краны, расщепленные телеграфные столбы — все это какое-то бесконечно-перестрадавшее, потерявшее чувствительность, похожее на деревья с искривленными, голыми сучьями. Мертвое царство, облитое холодными розами северной зари. И брошенные пушки с поднятыми дулами в сумерках похожие на поверженные фигуры, застывшие в немом отчаянии с головой, поднятой кверху и подпертой холодными, мокрыми от росы руками.

Туман, люди дрожат от холода и нервного напряжения, пахнет машинным маслом, смолой от канатов. Синий воротник наводчика у орудия-пушки удивленно вертится на своей подставке, оглядывая безлюдный, безгласный, в мертвой тишине отдыхающий берег.

Это — победа.

